

Говорят, у каждого дома душа есть. Так-то посмотришь – откуда ей взяться: дом ведь нежи- вой, из камня, дерева и прочего сложен, и сердца своего у него нет. А вот порой идешь по улице и задумаешься невольно, а ведь и правда – есть душа у дома, и сказать он может побольше лю- бого человека. Только вот его ли это душа или отражение хозяйской, того, кто в нём живет и сердцем отогревает?

Стоит домик невзрачный, ободранный, дурно за ним смотрят, но тепло светится в окошках. А рядом – добротный выбеленный, оштукату- ренный собрат – а не живёт в нём никто, и по стенам-окнам тлен расплзается; посмотришь на окно, и мурашки по коже, как смерти в глаза заглянул. Скажете, преувеличиваю? Может, и так, только вот есть у нас на одной улице дом – забор да стены ещё крепки, а двор зарос, и окна слепо на улицу поглядывают. Мимо пройдёшь порой, и взгрустнётся. А как не взгрустнуться, коли ещё год назад жил здесь крепкий хозяин! Жил да сгинул. И началось-то всё так незаметно, исподволь, не каждый и сообразит, как оберну- лось-то дело трагедией.

Бабка Аграфена да дед Василий раньше тут обитали. Крепкие люди были, хозяйственные.

Ещё заря крыши не позолотила, солнце лучами поля не пригладило, а Аграфена Семёновна уже корову подоила, телка на пастбище отвела, кур покормила, да и завтрак хлопочет. И Василий Петрович не отстаёт: траву кроликам подкосит, где забор подправит, пороссятам каши наварит. Настоящие крестьяне – залюбуешься! диву да- ёшься, откуда силы столько-то берётся. Славно жили, не тужили, беды не ведали да не чаяли. Полжизни в колхозе отгорбатились и на пенсии не бездельничали. Во всём себе меру знали, лиш- нюю копейку ни на что не тратили, всё дочке бе- регли.

Дочка-то у них тоже славная выросла: стат- ная, брови чёрные, глаза голубые, волосы по плечам рассыпью – словом, и умница, и краса- вица. И в школе отличница, и на поле трудяга. А как подросла, на бухгалтера отучилась да в приличную компанию устроилась на работу. Быстро в гору пошла, родители машину ей прикупили, она к ним каждую неделю пятнич- ным вечером и навевывалась. Часы по ней све- рять можно было: если к дому подкатила белая «ауди», значит, восемь вечера, и сейчас дверка у авто откроется, выпустит на волю ножку белую, стройную, улыбку Надину приветливую.

А мать с отцом уже дочь встречают, с крыльца выглядывают.

Да прикупил как-то кавалер заезжий в деревне дачу и гулял по вечерам, а что делать-то ещё, коли ни огорода, ни скотины не держишь? Только и слоняйся от края до края, от реки до леса, от поля до оврага. Вот в один такой вечер и увидел её, и то ли, правда, пленился очаровательной девушкой, то ли просто взыграла в нём похоть, но стал перед ней королём выхаживать, подмигивать, да красивые слова наговаривать. А говорить-то умел как! Век слушай – не наслушаешься. Надя хоть в городе и жила, всё в душе простушка деревенская, отродясь такого обхождения не видывала, слов таких не слышала. Он ей и цветы, и конфеты, и шоколад, и ручку целует. На берегу у реки сидят – стихи читает, а она млеет, вздыхает, глаза от счастья прикрывает, голову на плечо ему склоняет. Так вот и оглянуться не успела, как под сердцем второе, поменьше, застучало. Надя-то, почуяла как прибаву, обрадовалась, к кавалеру бежит, покраснела, волосы развеваются, на солнце золотом переливаются, прибежала, целует от радости его, ластится.

– Прыгай, родной, миленький, – в ухо шепчет, – радуйся: ребёночек у нас будет!

Отпрынул ухажёр, зашипел, как кот на собаку, ногами затопал.

– Что ты, – орёт, – сдурела, ополоумела. Нашла дурака – под венец затащить вздумала! Как же, держи карман шире! Уже, небось, и пропусти московскую тебе подавай, да квартиру пошире, посветлее.

Брызнула слезами Надя, отлетела, отскочила мячиком от него, затворила калитку за собой, а вместе с ней и любовь свою заперла. Ох, много горяшка тогда выплакала, выкричала. Пошёл Василий Петрович делегацией к дачнику, по-людски с ним поговорить думал, да и его тот слушать не стал.

– Вы за кого меня принимаете? – отвечает. – Думаете, легко дамся вам?! Надья ваша нагуляла пузо себе на сеновале, а меня в загс тащите!

И рассмеялся в лицо, да зря: дед-то Василий тогда ещё крепкий мужик был, зарядил несбывшемуся зятю кулаком – так на всю жизнь памятка сломанным носом у москвича и осталась.

Смотрелся, небось, после в зеркало, Надину долю вспоминал.

А Надя с той поры посмурнела, улыбалась редко. В город укатила, и толком к родителям не показывалась: мол, как это я с брюхом по деревне пойду, на меня же пальцем тыкать будут, смеяться, дурусти и глупости моей потешаться. Родители не перечили, думали, родит – легче станет. Да вон как бывает: не всегда время лечит, не всегда дитё мать к себе привязывает. Родить-то Надя родила, Петей сына назвала, а как посмотрит на ребёнка – в слёзы: и глаза, и улыбка у младенца отцовские. Так и сторонилась мальчика, еле-еле дождалась, когда грудью откормит, и всё к деду с бабушкой сплавляет Петьку.

– Мешает, – говорит, – он мне жизнь личную обустроить!

Родители-то здорово тогда этим возмутились, упёрлись, обратно внука отправляют, как же так, чай не сирота, при живой матери у деда с бабушкой месяцами отираться. Поговорят, пострашат дочь, та вроде чуть отойдёт, заберёт сына к себе в город. Довольны старые: мол, одумалась. Эх, знали бы они, как одумалась она!

Сына-то заберёт, бросит в квартире, а сама по компаниям с подружками похаживает, а те её в гулянии подбадривают, поддерживают, за её счёт бражничают, ухажёров подкатывают.

– Живи, Надья, – увещают, – в своё удовольствие, сын вырастет – улетит из гнезда. А бабе – мужик нужен. Какая баба нормальная без мужика-то?!

Так и надломилась красавица-умница. Ей бы, может, в ребёнке утешение найти, за родителей зацепиться, а вместо этого по кривой дорожке катится, мужиков перебирает, в квартире своей привечает. И всё больше как-то на дно рюмки заглядывает, совсем сына запустила. А Петька растёт, тянется к небу, от отца с матерью лучшие соки взял, в возраст вошел, классу к девятому сердцем раскрылся-распустился, как бутон розовый: девушки по нему сохнут, томно вздыхают. Только мать взглянет и помрачнеет, и всё больше ненавистные искры мечет, смотрела на сына раньше как на пустое место, а теперь и на дух не переносит. Заговорит Петя, а слышатся ей в сыновьем голосе стихи дивные, что на речке

москвич ей шептал; заглянет в глаза – а оттуда кавалер московский в ответку подмигивает.

Бывало, выпьет крепко, сидит на кухне и воет, сына попрекает:

– Ты да твой папаша проклятующий всю жизнь мне попортили!

Так пьяной и сгнула: прикатила летом к родителям, мать с отцом привычную песню завели, давай опять увещать, стыдить-стращать, чтобы за ум взялась, за ребенком приглядывала, а она взрывная стала, волком глядит, псом рычит.

– Что пристали ко мне?! Родили дурой – так терпите! – Стукнула кулаком и в город рванула.

Всякое потом говорили: то ли косуля на дороге выскочила, а Надя, чтобы животинку не загубить, свернула резко да вылетела под колеса встречной фуры; то ли просто не справилась с управлением, то ли ещё что. Только на утро и узнали, что остался внук их Петька сиротой.

Скажет кто – может к лучшему это? Что при живой матери сын и так сиротой жил. И то справедливо – нет проклятия горше, чем ненавидящая мать. Да всё равно, какая бы она не была, а родная кровь: выносила, родила, как-никак воспитывала, пусть через силу, а приглядывала. Помнил Петька, пускай, и редкие минуты ласки, но помнил, на пересечёт каждую улыбку, каждое поглаживание материнское лелеял. А чем дальше со смерти время текло, тем тусклее дурное становилось, через год-другой и вовсе выткнул в голове светлый образ, отобрал из горькой жизни самое тёплое и прекрасное, и предстала мать ангелом земным, лучезарным, заботливым да веселым, так что и слышать ничего плохого не желал, за грязное слово о ней в драку лез, с родными дедом-бабкой огрызался, за покойную заступался.

Запутанно старики от такого себя чуяли. Радовались, что внук о дочери добро отзывается, да за горячность его переживали, ворчали-наказывали, чтобы взрослым поперек языка не встревал, в драки не лез за слово: на чужой-то роток – не накинешь платок, легко кулаком махнуть, а потом как бы расхлёбывать не пришлось. Только ведь не особо и слушал их парень. Порой сидит Аграфена Семёновна и вздыхает: мол, в кого уродился внук – в роду и не было драчливых, а этот, как граната, стоит только чеку по-

тревожить, и беги быстрее в сторону, падай на землю да голову прикрывай – как бы не оторвало. В отца что ли?

– Помяни, дед, моё слово, – плакала бабка, – сам изопьёт горькую чашу и нас с тобой напоит досыта.

И то ли накликала Аграфена, то ли так оно естественным оборотом по судьбе само вывернулось, но за свой характер Петя, и правда, пострадал.

После школы поступил он в колледж (как по-модному стали называть училища-то теперь), учился так себе, через пень колоду. Он, правда, и в школе не особо к наукам расположение имел, да и какое расположение, коли дома не пойми какой бедлам, мать-то немного в себя придёт, вроде и позанимается с ним, когда задание там домашнее проверит, за двойки отругает, да еще один материн ухажёр, спившийся инженер, с ним позанимался, немного подтянул; а больше так сам себе в удовольствие предоставлен оставался. Словом, в воспитательном запусении весь ум у него в кулаки и ушел, а в голове одни метели крутили, и держали его в колледже за ради общественного интереса – больно спортивен уродился, там побегать, в футбол-баскетбол поиграть, честь учебного заведения отстаивать, да и на любом субботнике первый, и на концерте каком – и плясун, и певец.

Ох, как же по нему девки городские вздыхали! С ума сходили, хороводы вокруг водили. Он ведь совсем в красу вошёл, не смотри, что парень молодой, а плечи вразлёт, голова кудрявая, глаза изумрудами отливают, ладони здоровые, сильные – мужик! Только стати он пусть и мужицкой был, а складом умишка – мальчишечьим ещё: поглядит на красивую девку, слюни распустит, а притормозить в голову и не придёт. Поманит одна девица, глазки состроит, губками улыбнётся – он и бежит, другая – и туда бежит, совсем запутался, закуролесил, загулял. А где амурсы, там и драки-попойки, там и занятиям конец, и любому доброму делу завершение. Совсем дошёл до крайности, за юбки в драки лез прямо в колледже. Увидит, какой парень возле его крали отирается, летит и со всего маху в челюсть бьет. И то ли в горячке, то ли ещё что, да почудилось ему будто, и директор их на девицу

Петину заглядывается, так прям посреди пары встал и в нос впечатал.

Крови было-то! Шума да крику! Чай, не пацана какого избил, а уважаемого в городе человека. Дед Василий тогда поросёнка целого, да десяток кроликов, и флягу мёду отволол тому директору, лишь бы замаялся скандал, до милиции-суда не докатилось. Но вот в колледж Петру путь заказали, по добру предложили документы забрать и вольным молодцом на белом свете погулять, Родине-матушке солдатский долг отдать.

Аграфена Семёновна, правда, этому не печалилась, а больше радовалась.

– Уж в армии ему ума-то добавят! Обтешут, как надо, – говорила, и дед с ней соглашался.

Обтесали ли его в армии другие горячие кулаки, или в себя пришёл, отлучённый от женского взгляда, – неведомо. Только вернулся со службы Петя, как подменили: терпит теперь, в драки не лезет, с девками осторожничает, не бежит за красивыми глазками – всё присматривается, на работу устроился, трудится, и старикам по хозяйству первый помощник. Вроде и радоваться такому надо, а дед с бабкой опять переглядываются, тревожно перешёптываются: откуда такая перемена, как бы чего дурного опять не вышло – сколько, мол, пар не запирай, а ведь и чугунные котлы рвёт. Но недели сменялись месяцами, там и год прошёл, и второй, замирение у стариков в жизни пошло, бывалось, отлегло на сердце, успокоилось.

Да тут словно кто спохватился свыше, что не испита ещё чаша горькая до дна, сверкают ядовитые капли по стенкам, не порядок – стряхнуть надо. И стряхнули – пришла беда с нежданного конца. Москвич-то тот после сломанного носа долго не показывался на глаза, на дачу всё как-то сторонние люди навевывались, сдавал он её, что ли, кому, уж никак деревенские допытаться у гостей заезжих не могли, те всё хитро улыбались, помалкивали. А тут вдруг прикатил посреди осени сам, вроде как продавать удумал дом, столько лет, мол, стоит – зачем нужен, больше на него расходов, чем прибытка. Приехал и живёт, обратно не торопится, по улице смело идёт, никого не боится, да и кого ему боются, было что и забылось, небось, сгладилось, даже дед Василий при встрече лишь отвернулся,

слова дурного не сказал. Зато Петя, как приехал проведать стариков да узнал про отца, заходил кругами по дому, завертелся юлой, всё из рук у него валится, на деда с бабкой огрызается, от еды уклоняется. А под вечер и совсем томко стало, выскочил во двор, только дверь и стукнула.

– Эк его схватывает, дед, – зашептала бабка, – сходил бы ты, посмотрел, что он там делает-то? Поговорил-подуспокоил малого, как бы чего не вышло.

Дед на крыльцо шасть, а внука и нет там. Что такое, думает, весь двор исходил, оглядел – нигде. Застучало сердечко, зачуяло неладное, он и побежал к дому москвича, и только рукой за калитку дачную схватился, а москвич вместе с рамой оконной к ногам и вылетел. А за ним в проём Петя тигринным прыжком на папашу взгромоздился и бьёт наотмашь, лицо перекосило, – только, как в индийских фильмах, шлепки по улице разносятся. Ой, что тут началось! Дед кричит, внука от дачника тащит, да куда ему, старому, с молодым тягаться. Набежали соседские мужики, еле оторвали Петю. Вчетвером держали – это же какая силища в парне кипела! Видать, и правда, разорвало котёл паром, что скопился за столько времени!

– Убью гада, – орёт, – он мамку мою загубил, мне крови попил! Не жить ему на этом свете!

Тут и бабка подросла, глянула на дачника и только руками всплеснула: не лицо, а квашня кровавая, и заголосила-запричитала от страха за внука, как бы не помер отец его – тогда ведь и совсем туго будет.

Помереть-то, конечно, дачник не помер, крепким оказался. А вот Пете на этот раз драка с рук не сошла, докатилось дело до милиции, вмиг скрутили, под белые ручки увели, перед судейской мантией усадили. Его же отец первый и хлопотал, чтобы наказали крепче сына-то:

– Такого выродка, – говорит, – уважаемый суд, только под расстрел, не иначе. Мать проституткой была и сыночка бандитом уродила.

Петька услышал, какие речи папаша выводит, – кинулся на решётку!

– Выпустите, – кричит, – докончу своё дело!

Судья посмотрел на него и только головой покачал, какие тут уж защиты адвокатские, да

сбивчивые рассказы стариковские, коли молодой человек зверем в суде кидается. Покачал головой и подписал приговор суровый, вроде как покушался Петя на убийство москвича, шёл к нему домой умышленно порешить. И отправили парня по этапу на пять лет.

Дед Василий такого позору стерпеть уж не мог, в деревне злые языки-то распустились, давай молоть: мол, старики во всём виноваты, за дочкой не доглядели, все баловали её, и внука не воспитали как полагается. От кривого разговора сердце да прихватило, полежал месяц в больнице и отправился к дочери навстречу.

А за ним и Аграфена Семёновна не долго прожила: года два помаялась-помаялась, всё Пети, вроде как, дожидалась, а приехал Петя к ещё одной могилке. Посидел у дома на скамейке,

погоревал и укатил. Слух прошёл, что опять к отцу завернул по дороге, в глаза посмотреть, да трогать не стал, а плюнул в лицо и отправился на юга, на море, куда мать его мечтала поехать, чтобы погулять по берегу и шумом волн утешиться.

А москвич тот дачу-то свою продал недавно, но деньги ему добра не принесли: писали газеты, по дороге на него напали, избили да ограбили, в одиночестве в больнице кровью изошёл до смерти, некому и утешить было.

Так вот и вышло, что стариковская усадьба стоит – разрушается, крысами да мышами разоряется. А постоишь возле неё, посмотришь в оконца, и вроде как и в ответ тебе кто грустно подмигнёт. Это, значит, ещё не совсем дом отчаялся, цепляется за жизнь, Петю дожидается.